



Федор Ермошин

Одинцовские рассказы

Маме

Мусор

(ок. 30 марта 2007)

Был поздний вечер.

Я уходил из одного дома в другой — с улицы Чикина на улицу Говорова.

У меня два дома, как бывает два глаза.

Мама на кухне жарила котлеты. Пахло луком и жарким, как в пещере у разбойников. Она то и дело напоминала Сане с кухни:

— Са-ша! Выброси помойку!

Когда услышала, что я собираюсь уходить, вручила мне новую швабру для Даши, купленную в «Ашане».

Я захватил очередной кулек с книгами.

А братец Саня, раз я иду на улицу, передал мне увязку мусора:

— Помоечку захвати, будь добр. А то вонять будет.

Я вышел во двор.

Меня встретил открытый шум влажного города, запах мокрой земли, пролетавший свежий ветер, амбре горелого масла со стороны Макдональдса.

Город почти погрузился в тень, утопая в вечере ранней весны.

Я думал про мешки с книгами. Почему я их так много таскаю отсюда туда?

Книжки для меня — это первое, что создает атмосферу дома, привносит уют. А мама хочет освободиться от пыли. Поэтому с радостью отдает мне собрания сочинений. Иначе она грозит сдать их в библиотеку.

Позавчера я увез хозяйственную тележку с античной литературой. Пока я толкал тележку, лямки, которые перехватывали пакеты, постепенно съехали. Подпрыгнув на одном из бордюров, арба развалилась на составные части. Но я сложил кульки воедино и снова продолжил свой путь.

К концу похода пакеты были снизу до дыр истерты колесами, но держались стоически, как и я.

Теперь я шел по дороге, нес в левой руке новый мешок с книгами и забыл о бугре мусора в правой.

Я набрал хорошую скорость.

Мне казалось, что я — это камера на тележке, которая снимает этот вечер, эти огни.

Причем камера фиксировала бы только ряд жгучих маленьких точек, я же видел трепещущие от ветра ветки, свет в окнах домов и знал, что этого никогда не получится заснять.

Ботинки клацали по пустынному асфальту.

Ермошин Федор — родился в 1984 г. Аспирант филологического факультета МГУ. Пишет стихи, прозу. Публиковался в журналах «Октябрь», «Знамя», «Новый Мир». В Урале печатается впервые.



В темноте не было видно почвы, поэтому я поневоле перемещался по кочкам, как бы пружиня.

Ноги шупали землю, угадывали, что вот я иду по гравию, проходя мимо футбольной площадки, а вот мягенькая пробивающаяся трава газона.

Тень от швабры в свете фонаря неслась рядом с моей тенью, будто я скакал на коне в постоялый двор и держал в руках пику.

На площадке играли в настольный теннис. Был слышен цокающий стук пинг-понговых шариков.

За всю дорогу я так и не вспомнил о тяжелом пакете с мусором и, только подойдя к дому, вдруг понял, что тащил его через полгорода, как лох, хотя надо было выкинуть еще там, на Чикина, в бак возле подъезда.

Сунуть мешок в какую-нибудь урну — по калибру не подходит.

Возле круглосуточного супермаркета стояли большие мусорные баки.

Я направился было туда, но увидел, что у входа сидят на корточках, куря в ночь, хозяева. В светлом дверном проеме маячит, дымя вместе с ними, продащица.

Я решил не кидать мусор в их персональные баки.

Не стоит испытывать судьбу.

Подойдя к своему подъезду, я приладил мешок к углу дома.

Там уже лежал чужой мусор в герметичных черных пакетах.

Но они были хорошенько завязаны.

Мой же так переполнен, что сделать узел не было возможности, оттуда свешивались луковые очистки и всякая всячина.

Я слегка примял мешок.

Все равно варварство.

Я зашел в подъезд с мусором в руке. Ничего не остается, как выкинуть его в мусоропровод.

Клинический случай — тащиться через весь город с мешком помойки!

Возле почтовых ящиков стояла женщина в легком плаще. Она читала газету, которую, видно, достала из ящика.

Я узнал в ней нашу нижнюю соседку.

Честно сказать, я ее опасался.

Мы въехали в эту съемную квартиру неделю назад. В первый же день, когда мы остались там ночевать, придя поздно вечером, я решил помыться.

Напевая и намыливаясь, я не сразу услышал сильный стук в дверь. Звонок не работал.

Даша открыла.

Это была соседка.

Я тотчас притаился и выключил кран, слушая, что происходит. Скрываясь за шторой, обдуваемый сквозняком, с сохнувшими каплями на спине, я слышу их разговор.

Соседка сказала, что мы ее залили. Она сказала, что неделю назад сделала ремонт.

Что все, что у нас утекает в раковину и в ванную, вытекает у нее из унитаза. Прямо сейчас. Это не считая того, что утекает у нас еще и из унитаза...

Она очень нервничала.

Я опасался, что они с Дашей зайдут сюда проверить какие-нибудь коммуникации.

Я вставил в ванну пробку, набросил на себя одежду.

Входная дверь захлопнулась.

К счастью, мне не пришлось таинственно укутываться в холодную мокрую штору при виде неожиданных посетителей.

Я пошел вниз.

Там я убедился, что из унитаза, как изволила выразиться соседка, «прет дерьмо».



Вскоре, несмотря на близость ночи, пришел сантехник, который живет в соседнем подъезде.

В очках, с приплюснутым носом, в камуфляжной куртке, нескладный. В портфеле звенят разводные ключи и пасатижи.

— Да-а, — сказал он. — Дела наши грешные.

И стал светить фонариком. Выяснилось, что между двумя этажами прохудилась труба.

Он обещал прийти завтра и поставить другую.

Мы с Дашей решили не мыться до нового его визита.

Поутру сантехник снова навестил нас. Он долго кряхтел, меняя трубу.

Он сказал, что если мы куда-нибудь уедем или надолго уйдем, надо перекрывать вентиль. «Такой закон», сказал он.

Я сказал, что я перекрыл вентиль, как только увидел признаки потопы.

Честно говоря, я солгал.

Он сказал, что больше потопы не повторятся. Вместо прохудившейся трубы он поставил «сверхпрочную».

На следующую ночь в четыре утра мы услышали настойчивый жестяной стук в дальнюю дверь.

Я уже понял, по чью это душу.

А Дарья перепугалась: что за гость в столь поздний час?

Я пошел посмотреть, что происходит у соседки.

Она хотела показать, что у нее творится. По стене туалета с тихим журчанием лилась вода.

Она уже никого не обвиняла.

Только спрашивала:

«Федор, что мне делать?»

Я чесал затылок. Я дал ей свой номер, чтоб звонила. Я не очень рукастый.

Когда я поднялся к себе, я увидел, что залило не только соседку, но и нас.

Поиск вентиля не увенчался успехом... Но его нашла разумница Даша.

Мы подложили тряпки и подставили тазы.

Через полчаса, когда в кресле, на боевом посту, меня почти сморила дремота, я опять услышал стук.

Я по-армейски быстро нацепил штаны.

У дверей стоял небритый, заспанный человек.

Он извинялся и говорил, что это у тещи на седьмом сломался душ.

К утру журчание прекратилось.

К нам опять пришел сантехник.

Он осмотрел наш туалет. Со сверхпрочной трубой все было в порядке.

Он собрал вещи и ушел. Правда, забыл вернуть на место заднюю стенку, сквозь которую проходил какой-то хитрый проводок, ведущий к бацку унитаза.

Поэтому теперь у нас в туалете очень хорошая слышимость. Недавно Даша со смехом выбежала из кабины, услышав строгий возглас мужика с другого этажа, который был обращен к кому-то из бесцеремонных домочадцев:

«Я какаю!»

Но катаклизмы вроде миновали...

Сейчас соседка с интересом читала газету, стоя у почтовых ящиков. Она не обращала на меня никакого внимания.

Она изредка смеялась, читая что-то веселое.

Я поднялся на следующий этаж, прошмыгнув мимо нее.

Открыл мусоропровод.

Мешок был увесистый.

Я вынул из него слишком выпирающую бутылку из-под моющего средства и прямоугольный пакет от сока. Я рассовал эти бонусы по карманам и решил

упихать весь мешок с помойкой сразу, чтобы, наконец, с ним покончить и спокойно идти домой, где меня давно ждет Даша.

Я вмял весь мешок разом в узкое мусорноеместилище. Ячейка аж вывалилась от моего нажатия и торжества. Я вставил ее обратно, подтолкнул мешок с помойкой изящным, легким движением, чтобы он, влекомый собственным весом, начал падать вниз, и быстро захлопнул хавальник мусоропровода.

Но грохота почему-то не последовало.

Мешок умолк.

Заткнулся.

Застрял.

Где раскатистый шум?

Я открыл мусоропровод.

Мусора в ячейке уже не было.

Я встревожился. Неужели мешок застрял между этажами? Я здесь новый человек и опять замешан в скандале с коммуникациями. Уже успел мусоропровод забить.

О нет. Только не это...

Более того, — промелькнуло, — меня видели.

Это сделал точно я, а не кто-нибудь другой. У меня есть свидетель — соседка. Та самая.

И у меня нет алиби.

Я опять открыл мусоропровод, сунул нос во тьму трубы. Из-за резкого толчка от стертой металлической ручки отделился сероватый прах, ударил в глаза и нос.

Тут я вспомнил про чудо-швабру.

Я сунул швабру в мусоропровод и стал шарить ею, погрузив руку по локоть в зловеще-темное жерло. Пустое пространство для размаха руки.

Что это значит?

Где — моя — помойка?!

Мусоропровод отвечал безмолвием. Что ж. Надо проверить затор этажом ниже, где соседка.

Внизу не было слышно шуршания газеты, но и вызова лифта не было, звона ключей тоже.

Значит, она еще там.

Я стал вальяжно спускаться вниз, готовый чуть что приветливо поздороваться.

Швабра мешала.

Сразу бросается в глаза.

Вот если б в куртке была петлица, я бы прицепил швабру и спрятал, а так — словно балласт какой-то.

Из кармана торчит пустая банка от моющего средства.

В другом кармане — неуместный литровый пакет от сока.

Возле почтовых ящиков пахло газетной печатью. Соседка стояла неподвижно, в весеннем плаще и в очках. Она изредка гулко посмеивалась, продолжая читать анекдоты на последней странице с сосредоточенностью женщины, которая из-за частых стрессов легко переключается от истерики к веселью и обратно.

Она и не думала уходить. Сейчас увидит, как я ношусь то вверх, то вниз. Подумает, больной.

Все это работает не на имидж нашей квартиры.

Я осмелился на последний отчаянный опыт: если уж засорять мусоропровод, так до кучи.

Я решительно обошел соседку, открыл железный ящик и бросил банку туда.

И я услышал: банка полетела безо всяких препятствий, с характерным звуком пластмассового перекачивания.



Я знаю, что на том конце города мой брат Саня уже сидит в коридоре на яшике с гуталином и ждет папу, а папа надевает спортивную куртку и большие кроссовки.

Я долго собираюсь и, наконец, выхожу.

Я приближаюсь к поляне. Для нас это — поляна, хотя площадка находится на бугристом холме, посыпана крупным гравием и поэтому называется «на камнях».

Игра уже в разгаре.

Саня руководит толпой маленьких матерящихся футболистов.

— Федь! Давай играть! — издали кричит мне вратарь Леха, парень полный, добрый, шепелявый, с задержками в развитии.

И мы начинаем заново делиться:

— Нам вот этого!

— Возьми лучше его, он нормально играет!

— Нам синего!

— Пусть Некит за нас идет!

— Скинемся! Я не хочу за них!

— Комано-водано, цу е фа!

Поделились.

Все бегут на мяч, который укатывается в низину, где растут молодые елочки, веревками привязанные к деревянным столбикам, врытым вокруг тонких стволов.

Целая толпа спрыгивает с холма, чтобы завладеть мячом, который скачет все дальше.

— Мы что, без «ушла» играем? Или с «ушло»? — громко кричит вратарь.

Двое самых активных заигрались с мячом уже возле лавок, где мужики пьют пиво, возле луж, где моются голуби.

На воротах в противоположной команде — мальчик лет десяти. На нем военная форма: он в камуфляжной куртке и штанах. Зовут Васек.

На нем солдатский ремень. На нем кепка с надписью «Toyota».

За мячом он ходит медленно, вразвалку, как бы прихрамывая. Пацаны смеются:

— Из армии пришел, устал...

Вскоре наш толстый голкипер опять неуклюже пропускает между ног.

Он держит мяч за полуотодранный кожух, как тяжелую ношу. Противник, забив гол, кричит ломающимся голосом:

— Очкист!

Папа проводит неплохие атаки. Их команда с чудовищной легкостью забивает еще три.

В чужой команде — пацан с красными губами, розоволицый, с веснушчатой, возмущенным лицом.

Он ленится играть, то уходит с поля, то возвращается обратно, и постоянно задирается ко всем без разбору. Мне, например, он насмешливо сказал, когда увидел, что я ошибся: «Ха! Пас продрюкал!» Парню с надписью «Вагнер» на майке он небрежно бросил: «Ты не Вагнер, а ты фигня!»

После каждого гола наш неторопливый, массивный вратарь (про него на перекладине ворот написано: «Леха здесь не трогай а то укусит»), опираясь о штангу, с мячом подмышкой, спрашивает:

— Федь, а мы сравниваем?

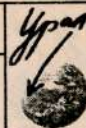
— Конечно, сравниваем!

— А по пенальти будем?

— Все может быть...

Воодушевляясь, он хрипло кричит задиристу пацану, не поспевая за собственными словами:

— Мы еще выиграем у вас медальки! Иди отсюда!



Правда, очень коротким.

Я возликовал. До меня дошло. Это ведь всего лишь третий этаж. А на Чикина мы живем — на четырнадцатом.

Поэтому там мусору, конечно, дольше лететь. Оттого и звук более величественный.

С четырнадцатого он падал бы долго, с лавинообразным громом, будто катятся валуны.

А тут быстро, словно кто-то с шуршанием перетасовал карты.

Я радостно поздоровался с соседкой. Она ответила мне кивком.

Запыхавшись, не подавая вида, я спустился еще на этаж.

Там был уже выход на улицу.

Значит, это нормально.

Значит, мешок просто упал в подвал.

Значит, жизнь продолжается — на равных правах со всеми жильцами!

На душе потеплело. Мы находимся в плену наших представлений, которые ограничивают наше воображение и устанавливают ложные границы между людьми.

Я вызвал лифт. Обнаружил в другом кармане пакет от сока.

Я поднимался в лифте, глядя на себя в зеркало.

Я взрослый человек.

У меня щетина.

Скоро у меня родится сын.

Выкину-ка я этот пакет дома в мусорное ведро. Это будет маленькая плата за интересный опыт.

Дарья давно уже ждет меня, простого непутевого одинцовского парня.

Я ехал в лифте.

Нет, все же абсурд: из одного мусорного ведра в одном доме — в другое мусорное ведро в другом доме. Тем более что эта упаковка от сока займет добрую половину нашего ведра.

Выйдя из лифта, я спустился на пол-этажа, с лязгом открыл ячейку. Уверенно бросил упаковку и выслушал, как она грохочет, падая в тартарары.

На пятом звук дольше. Привычнее, — как на улице Чикина! — и поэтому ласкает ухо.

Я поднялся и стал отпирать дверь.

Дарья услышала, что я шуршу ключами, сама открыла вторую.

— Ты где так долго?

— Дела... Ну, вот я и дома. Home, sweet home.

— Слушай, а ты мусор не вынесешь заодно?

— Давай завтра. Я с утра на Чикина пойду и выкину. Что щас со мной было... Комедия.

Я огляделся.

Рассказать, что ли, милой про мои страдания с мусором? Хотя это вряд ли сработает на мой имидж.

— Что ты говоришь? — спросила Дарья под шум воды.

— Щас, говорю, соседку нашу видел. Поздоровался.

Пусть это будет нашим с мусоропроводом секретом.

Я заварил себе чаю и сел напротив Даши.

Футбол

(27 марта 2007)

Мы открываем футбольный сезон.

На улице весна.

Я шнурую задубелые, немывые кеды.



Федор Ермишин

И с силой бьет по сдутому мячу.
Все бегут вперед. В том числе — маленький голубоглазый мальчик, которого никто не замечает.

Он то и дело подтягивает слишком длинные рукава черной куртки, напоминающей тулуп, ходит по полю и разговаривает, кажется, сам с собой:

— Пасок бы! — шепчет, грустно вздыхая.

— Так, давай! Беги вперед! — я хлопаю его по маленькой спине, впервые заметив, что он у нас есть. — Ребята, мы должны сравнять!

Я навешиваю с углового, кричу ему: «Открывайся!», и про себя думаю: «Ну, тянись, тянись!».

Он пробегает мимо, не допрыгнув до мяча. И опять ходит по площадке, протяжно вздыхая.

Мы пропускаем еще и еще.

Один игрок нашей команды, чуть что, сразу ложится и неподвижно лежит на траве, словно упав замертво. Другой пацан дезертировал, якобы уйдя за водой.

Команда разваливается. Вратарь громко канючит:

— Давай перделимся! Федь!

— Не бойся мяча! Че перделиваться?... Выходи на игрока!

— Они слишком сильно бьют...

— А ты бей сильнее! Ребята, собрались! Мы — команда!

Ребята бегут в атаку в ожидании паса.

Защитник, парень постарше, заговорщицки, с нетерпением просит:

— Дай, пну.

— Ну, пни, — говорю.

Мяч случайно попадает по попе проходящей мимо большеглазой девочке с длинными волосами, с веником в руке, которым она машет в разные стороны, бродя по полю.

Ее испуг, неожиданность ее появления, произвольность полета мяча — все вызывает дикий гогот футболистов.

Вдруг мне дали передачу.

Вижу, их вратарь куда-то исчез.

Перепрыгиваю через брусья низких турников.

Бью в пустые ворота... о, чудо! — забиваю гол. Наш вратарь вопит яростно, торжествуя.

Меня облепили одноклубники-младшеклассники, хватают за одежду, праздную гол.

Маленький мальчик в куртке до колен, который только что вздыхал, теперь радостно прыгает:

— Это от моего паса забили! От моего!

И тут я вижу: у них на воротах никого нет. В отдалении вражий сбежавший вратарь-«Военный», упав на того краснощекого парня, который ко всем задирался, зажал его всем телом и в аффекте, озверении гнева, лупит кулаками по голове.

Оба повалились на траву и катаются в напряженном клубке драки.

Только и слышно, как первый, потный, выкрикивает:

— Чмо! Чмо!

Второй старается заслониться, хватая «Военного» за подбородок. Вокруг топчутся ребята, боятся влезть.

Мы бежим туда.

По дороге встретили тетку с сумкой, которая остановилась, смотрит испуганно:

— Вы поглядите, как он его мутузит!

Саня без промедления втискивается между бойцами, хватает одного, оттряхивает от другого.



«Военный» стремится вырваться, обманом настигнуть врага. Краснощекий стоит в замешательстве, потом убегает, перепрыгнув через ограду.

Саня ведет «Военного» к воротам.

Топорщится ворот камуфляжа, задрана тельняха.

Саня приводит его в чувство:

— Он убежал. Он debil. Успокойся. Все.

«Военный» растирает слезы рукавом на обиженном лице.

Ребята шутят, осторожно оглядываясь:

— После армии пришел, накачался...

Мы возобновили игру.

Я споткнулся о камень, падаю коленкой в грязь, а сзади, словно стервятник, на мяч уже налетает Саня. Все наши опять убежали в атаку, и никого нет в защите, я поднимаюсь, бегу за ним, и все вокруг, опомнившись, тоже бегут за ним, и я чувствую, что долю секунды не успеваю, чувствую такой же азарт оттого, что не успеваю, как и двое из моей команды, бегущие слева и справа. Все это сложилось в один замедленный момент, гибкий и плотный.

Саня пушечным ударом забивает нам девятый гол. Мяч улетает далеко к подъездам. Опять двадцать пять...

Вдруг кто-то из ребят кричит папе:

— Дядь Андрей, ваш мячик собака ест!

Наш мяч оказался добычей овчарки. Мы зовем ее хозяина, который стоит в компании возле подъезда рядом с машиной. Кобель вгрызается в мячик.

Хозяин подает реплики издали, держа руки в карманах, не подходя.

— Это не наша собака! — орет он, и эхо отлетает от стен домов.

— Значит, можно отстреливать? — восклицает папа в широкий весенний воздух.

— Пали! — ответ гуляет в окрестном бетоне.

Наконец мяч прикатывается от ноги молодого человека из компании, который даже говорит «Извините» и, сутулясь, уходит.

Вскоре за папкину команду зашел новый смуглый крепыш вместо двух «мелких», которые убежали домой, и забил последний гол.

За строящимся домом садится солнце.

Папе звонит мама, которая возвращается из «Ашана», ее надо встретить.

На самом деле, пора.

Саня, папа и я пожимаем маленькие ладошки.

Пожимаем не по годам крепкую и костистую руку «Военного».

Пожимаем руку Лехе-вратарю в его пупырчатой хозяйственной рукавице для огородников.

Он, запыхавшись, сочувливо, с печалью в голосе спрашивает:

— А завтра придете? Завтра вы будете играть?

Ему некуда торопиться, он не ходит в школу, он целый день во дворе, и ему нравится, когда в футбол играет много. Он стирает слюни курткой.

— Ну, может, и придем. Как получится, понимаешь. Много дел.

— А сколько?

— Ну, много.

— И Андрей придет, и Саня? Ты им скажешь?

— Скажу.

— Вы приходите, Федь.

Запыленный, возвращаюсь домой.

Даша смотрит, как я сажусь за стол в грязной футболке и шортах.

Я хочу рассказать о захватывающем матче, но говорю сплошными междометиями.

Я наливаю в стакан соку и пью его, жадно двигая кадыком.

Я обнимаю Дашу.



Я говорю, что лет через сто на площадке будут бегать другие дети, или дети детей, или дети детей детей, и я надеюсь, что все будет в порядке, и они будут играть в футбол и резвиться.

Только драться, конечно, нехорошо...

Даша намекает, что неплохо бы мне помыться.

Я послушно иду в душ, нехотя приподымаясь со стула.

Пожар

(15 апреля 2007)

Саша Антипкин — мой ученик. Мы занимаемся с ним английским.

Он дерется на мечях в одинцовском лесу. Выучил стихотворение Брюсова «Я царь земли Асаргаддон». Это его любимое стихотворение. Он не раз во весь голос декламировал его мне своим как бы простуженным голосом. Когда я в прошлый раз закрывал за ним дверь, Антипкин спросил:

— Знаешь, что случится через тридцать лет?

— Нет.

— Страной будет править царь-батюшка. А знаешь, что случится через неделю?

— Ну, и что же?

— Он придет к тебе на английский.

— Ясненько...

Тему «My school» не учит, говорит, «на экзамене симпровизирую». «Man» переводит как «мужик». В начале занятия, чтобы не забыть, протягивает мне двести рублей, как старый ученик (с новых триста):

— Вот тебе плата за твои мучения...

Было воскресенье. Шесть часов вечера.

Я занимался в большой комнате с Антипкиным.

То и дело открывалась дверь, вбегала сестрица Маша и искала то заколку, то помаду, мешая учебному процессу.

Антипкину задали проект про город Одинцово и его прошлое.

Мы сидели за компьютером и переводили текст про Оди́нца, легендарного пращура всех одинцовцев.

Вдруг Антипкин почуял, что пахнет паленым.

Я принялся к компьютерным проводам:

— Не знаю, может, помойку жгут во дворе...

Вскоре Антипкин вновь уловил запах горящей пластмассы.

Я заглянул под процессор:

— Нет, не здесь. Но вонизм есть какой-то.

— У меня вот так однажды лампочка оплавилась, когда я уснул, — начал свой рассказ Антипкин.

Я прекрасно знал его рассеянный нрав и постарался вернуть ускользающее внимание к тексту, теперь уже об одинцовских улицах. А сам открыл балконную дверь.

Итак. Запрудная сторона. «Zaprudnaya side was very beautiful...»

В комнате то светлело, то темнело.

Странно. Будто мгновенно то выходит, то заходит солнце. Я подумал: это меняется погода, а с ней и свет.

Антипкин снова забеспокоился и сказал:

— По-моему, щас еще сильнее несет.

Я вышел на балкон. Посмотрел за окно.

И тут увидел, что с нижнего этажа валит дым. Совсем рядом, кажись, на тринадцатом. Черные клубы то возвращают солнечные лучи, то застилают до

полного сумрака. Дым быстро выталкивается снизу, как из-под паровоза, прямо сюда. Слышен тихий ровный треск, будто шуршит бумага.

— Пожар! — сказал я и закрыл балконную дверь на все замки.

Может сгореть балкон. Там коробки с моими записями. (Вот гад! В соседней комнате жена на восьмом месяце, а он все про бумажки свои! — Жына). Я как-то даже не подумал, что надо убежать самим.

Перекрестился. Пошел в коридор. Открыл дверь в мамину комнату.

Даша мерила шмотки, которые нам отдали добрые люди.

— Мам, там пожар.

Даша, не расслышав, засмеялась:

— Я тут... в таком виде.

Мама кинула платье, которое прикладывала к Дашиным плечам.

— Да ты что...

— Кажись, у Остроуховых горит.

Я схватился за телефон. От волнения стал набирать «ноль три» вместо «ноль один».

Я подумал: что спасти в первую очередь? И тут до меня дошло: надо смеяться.

Квартира на глазах наполнялась гарью.

Мама открыла шкаф, бросила мне охапку полотенец:

— Иди в ванну, намочи.

На том конце провода ответили. Я передал маме трубку, а сам побежал в ванную, открыл кран. Побросал в раковину гору тряпья, стал болтать полотенца под струей воды. Надо взять деньги. Хотя — зачем брать двести рублей, когда может сгореть все...

Выжал самое мокрое из полотенец прямо на пол.

Может, протереть? Может, все не так экстремально, как кажется?

Тем временем в кабинете папа и Саня начали шестую партию в шахматы.

Услышав о пожаре, папа выскочил в коридор. Он громко сказал:

— Ничего не берите с собой, быстро одевайтесь и уходите!

В коридоре меня поймала Даша. Она была напугана и сильно сжала мою руку, вцепившись в нее ногтями:

— Федь, я так боюсь. Пойдем со мной.

— Все будет нормалек, я с тобой, — бледно сказал я, дал ей салфетку из мокрой кучи. — Бери быстрее, это от гари.

В большой комнате была сплошная темень. Дым смугло застилал окно.

Антипкин уже сложил в пакет учебники и стоял посреди комнаты. Он молча смотрел на меня глубоко посаженными глазами, острым лицом. Я протянул ему полотенце:

— Это к лицу при... — я похлопал ладонью себе по физиономии от недостатка слов. — Давай, вырубаем все это. Пошли.

Не дождавшись отключения компа, я нажал на кнопку рубильника.

— Ба, держи! — я протянул мокрую тряпку бабе Ляле.

Все слова пропали, на языке вертелось только «быстрее». Маша рылась в шкафу в поисках куртки, которую наденет, и ни за что не хотела выходить на улицу в «неприличном».

— Совсем, что ль, сбрендила? — сказала баба Ляля.

— Выходи в чем есть, не придуривайся! — закричала мама.

— Быстрее! — завопил я и выбежал в прихожую.

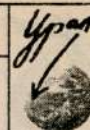
Меня как знобило.

Бурый, душный дым тяжелил воздух — невозможно дышать без влажной тряпки.

Антипкин в темноте совал ногу в кроссовок, закрывая нос полотенцем.

Я постучал соседке, тете Вале, кулаком в дверь.

Она открыла, в ночнушке, полуодетая.



На гладильной доске утюг и стопка белья.

Работает радио.

Оконный свет пронизывает серую дымную завесу.

Я порвал платок надвое, дал тете Вале половину и поразился, что сразу получилось разодрать мокрую ткань. Тетя Валя взяла, но сказала, что никуда не пойдет. Я закрыл дверь.

— Решила остаться, — сказал папа. — Дело ее.

Я в последний раз вбежал к нам домой.

— Все вышли?

Никто не ответил.

А вдруг в комнате потеряли сознание, вот и молчат? Мало ли.

Еще раз оглядел пустые комнаты. Там копился густой дым, пахнувший горячей краской и лаком. В туалете горел свет. Дернул дверь. Никого. Я щелкнул выключателем и выскочил на площадку.

Баба Ляля жала на кнопку, пытаясь вызвать лифт:

— Тихо, Андрей! Надо лифт послушать!

— На лифте ехать рискованно, — заметил папа. — Если застрянет...

— Да глухо, говорю я вам, — сказал я. — Надо по лестнице.

— А дверь на ключ закрыть, Андрей! Кто так делает! — сказала баба Ляля с укоризной. — Раззявили и пошли? Заходи, кто хочет?

— Ладно, я закрою, бегите, — помедлив, решил отец.

— А мама где? Даша где? Саня? — спросил я.

— Не знаю я, где твой Саня и куда они делись, — ответила бабушка недовольно и нервно.

— Не, серьезно, — сказал я.

— Вот, серьезно.

Я обещал Даше, что буду с ней. Может, они с мамой уже спустились?

Открыл дверь на черный ход с резким скрипом пружин.

Закричал:

— Даш!

Еще раз заорал в лестничные пролеты:

— Да-ша!

Я услышал, как сердце стучит в горле.

Шлепая тапками, побежал вниз по ступенькам.

На меня навалилась огромная черная лавина дыма.

Я шлепал тапками, не останавливаясь. Я бежал.

Едкий дым рассеялся.

Навстречу по лестнице шел пожарник в толстом кожухе униформы.

Казалось, он в своих ботфортах занял всю лестницу.

Чтоб не вставать на пути, я прыгнул через перила на следующий лестничный пролет и продолжил бег.

Вслед за первым другие пожарные быстро поднимались вверх.

Они пластали по ступеням брандспойт, волокли его, матерились. Если бы они говорили на каком-нибудь своем языке, что-нибудь вроде «майна»-«вира», это бы успокоило. Но они говорили не «майна»-«вира». Их приказы были сбивчивы и просты.

Впереди стена.

Дальше спускаться некуда. Дверь на выход открыта. Первый этаж.

Я выскочил на улицу. Голова кружилась от винтового бега.

У поворота большая красная машина. Молодцы, что хоть быстро приехали.

Передо мной зеленая лужайка. Детская площадка. На ней, среди худых деревьев, вижу нестройную толпу. Полуодетые люди кучкуются семьями, по-одиночке. Это жильцы нашего дома.

Я не могу найти своих.

Где вы есть-то?

Мужик в рубахе на голое тело. Девочка на краю бордюра в шлепанцах отталкивается от земли, обхватила себя руками. Глядит наверх, как и все. Где вы есть.

Вдруг мне кричат:

— Федь, мы здесь!

За первым нестройным рядом увидел маму, Марусю, Антипкина. Дарья, чтобы не дышать дымом, стоит в отдалении.

— А Саша где? — спросила мама. — Бабушка где?

Ответить нечего. Я не знаю.

Теперь бабушку и Саню потеряли, идиоты.

— Все, стой здесь, никуда не ходи, — говорит мама.

Из подъезда выходит папа. В руках чемодан, в нем ноутбук с файлами и деньги.

Я выбегаю к нему:

— Пап, где баба Ляля? Где Санек?

Он не знает.

Я снова в дом, на лестницу. По ступеням тянется складчатый питон брандспойта. Слышу надломленный собственный голос:

— Сань!

Папа догнал меня, говорит в спину:

— Саша нашелся.

— А баба Ляля? Баба Ляля-то где?

— Так, Федь, на выход, — приказал батька.

У него взъерошенные волосы. Так поседеешь на фиг, подумал я и вернулся в толпу.

Оказалось, Саня сел на пень, чтобы переобуться из тапок в кроссовки. Там и сидел, и не слишком торопился воссоединиться с родственниками.

Дети гнездятся на горках и лестницах, чтобы лучше видеть пожар.

Мимо пробегает черная собака Ника. Она старая, живет на четвертом.

Горит двенадцатый. Я повторяю молитвы.

Наконец из зева подъезда выходит баба Ляля в колготках и сине-красном халате.

Хочется ее ругать.

— Елена Дмитриевна, что ж вы! — говорит папа. Он идет рядом с ней.

— Я не могу бежать, у меня ноги, — степенно отвечает она. — Это вы галопом...

Баба Ляля рассказывает про какого-то мальчика, который затерся среди пожарных:

— Ему говорят: «А ты кто такой?» Сам маленький, шустрый, от горшка два вершка, грит: «Я пожарник». Представляете? Пожарник ему, здоровый мужик, грит: «А ну пошел отсюда, чтоб духу твоего не было! Тоже мне, деловой!» Представляете?

Все живы.

Мы с Дашей и Антипкиным отошли еще дальше, чтобы не нюхать смолистый запах гари. На большой высоте, подвластный ветру, с балкона порывами прет черный дым. Я глажу Дашин живот.

— Знаешь, как толкался! — сказала Даша. У нее снова слезы, как вспомнит.

— Ну, так! Мамка психует, и он тоже. Героическая ты моя. Натерпелась.

Огонь ластится и лижет края высоких окон. Красная машина подъезжает ближе. Пожарный кричит через десять этажей своим коллегам внизу, решая актуальную проблему подачи воды:

— Кто там? Подавай, е..ыть!

Толстый шланг, который пожарные протянули вверх через много балконов, конвульсивно глотает воду. Как будто по дому ползет огромная гусеница.

Потом пришел папа. Я поделился с ним такой мыслью: физик Гейзенберг спас из пожара незнакомого человека. Если прикинуть, я бы вряд ли ломанул-ся в открытое пламя. Вряд ли...

Только поздним вечером пожарные потушили огонь.

Вся квартира на двенадцатом выгорела.

На лестницах дома на Чикина, 2 — лужи воды.

Жильцам разрешено вернуться в свои хаты.

В пожаре, слава Богу, никто не погиб.

Правда, на тринадцатом, у Остроуховых, поврежден паркет-ламинат. А их коту Бецману пришлось делать пять уколов, потому что он наглотался дыма.

Об этом сообщила городская газета, снабдив статью четырьмя фото Бецма-на в разных видах.

Мои бумаги целы-невредимы.

Зятя забрали в милицию. Мама отнесла триста рублей погорельцам.

Вернувшись домой, папа и Саня увидели, что в кабинете на диване разло-жена шахматная доска, на ней фигуры.

Усевшись, они машинально продолжили партию.

Антипкин два дня назад купил себе саблю. Теперь, сказал он, с ней можно «идти на печенегов».

А вчера пустили лифт.

Мелкие друзья рыжего Ромика пишут, что «Рома лох», «Рома козел», «Рома хач» и другую напраслину рядом с кнопками лифта, пальцами по закоп-ченным стенам.

На высоте своего роста, и этим себя выдают.

Почта

(14—15 августа 2007)

На почте запах сургуча, теплый свет плафонов.

Дома я выписал адреса толстых журналов и теперь пришел сюда, чтобы всем разослать свои опусы.

Так я делал и раньше, но неделю назад пришло письмо из одного журнала, в котором было написано, что мой рассказ «опубликовать не смогут». Это вселило надежду, что письма доходят. Я решил послать им новые творения.

Бомбардировать их «прозой поколения некст».

Я купил шесть больших конвертов.

Удивили меня эти белоснежные конверты. Вначале я пытался по традиции поклонить линию сзади. Оказалось, там есть специальная бумажка, которая отслаивается, и две части — хоп! — склеиваются сами собой. Я увлекся и склеил пустой конверт. Разорвать его без потерь было уже нельзя.

Я настроил себя на серьезный лад: парень, будь повнимательней.

И стал надписывать оставшиеся конверты, вкладывать туда рукописи и заклеивать их.

Хлопнула входная дверь. Вошла спешащая женщина. Вскоре ей понадоби-лись ножницы, чтобы что-то подрезать. Она вежливо попросила.

Почтальонша молча положила ножницы на прилавок.

Постояла в тишине, за оградой стекла. Потом промолвила:

— Это не моя работа — давать ножницы. Это уже мое желание. Захочу — дам вам ножницы, захочу — не дам. Это уже как я хочу.

Почтальонша как бы наверстывала, что не сразу отозвалась на просьбу должным образом.

— Что тебе, трудно дать ножницы? — женщина пристально посмотрела на почтальоншу.

Та уплыла в коридор.



Внезапно из середины шланга на большой высоте вырывается фонтан воды.

Шланг оказался драный. Поток напористо хлещет на стекла. Дети внизу смеются и ликууют.

А Саня принес последние известия.

Во-первых, поджег зять в одной пьющей семье, из ревности.

— Помнишь, с каре такая, с теньями под глазами ходит?... — добавила мама. — Этого зятя жена.

Я не могу въехать, о ком речь.

— Шалавистая такая, — объяснил Саня.

— А, понял, понял... — говорю. — Эврика!

Саня снова уходит гулять по площадке, потом возвращается и рассказывает, что говорят, мол, этот зять поджег квартиру, а потом сам же и вызвал пожарных. Поэтому они так быстро приехали.

Пожар-то бушует уже битый час.

И еще информация. Тесть побил зятя. А пожарный из бригады, по последним сведениям, «подбежал и тоже дал кому-то в табло».

На улице не жарко.

Прохладно. Весьма прохладно...

Я поцеловал Дашу, обнял ее крепко.

Мама сходила к соседям на первом, притащила куртки. Мне досталась куртка в краске, похожая на робу. Я с радостью ее надел.

Разговор зашел про соседку тетю Валю и ее судьбу.

— Выскочила, как пробка! — говорит баба Ляля с уверенностью. Она уже видела тетю Валю в толпе.

К нам подбегают пацаны — Васек, Кирюха, Ромик. Они носятся вокруг дома, чтобы рассмотреть ситуацию с разных сторон.

Один из «мелких» задает Сане вопрос:

— А как бы ты себя чувствовал, если б у тебя дом сгорел?

Саня ответил, терпеливо и вдумчиво глядя на пацана:

— А как бы ты себя чувствовал, если б у тебя дом сгорел?

Пацан убежал куда-то, не удостоив.

Пришагал вратарь Леха с баскетбольным мячом подмышкой.

Он увлеченно читает надписи на майках приятелей, пробегающих мимо. Не обращает особого внимания на суету, то и дело подтягивает большие штаны:

— О, Шевченко бежит... О, Вагнер бежит... — констатирует он.

Мы решили идти с бабушкой к нам, на улицу Говорова.

Антипкин шутит что-то про бесплатные полы с подогревом. Он идет с нами. Он тоже на улице Говорова живет.

На насыпи подземных гаражей — зрители. Я бреду по городу в тапках и в странной одежде, как беженец. На меня смотрят.

По дороге покупаем овощей на деньги, что были в кармане.

Антипкин отправляется домой. Прощаемся.

— Теперь, — говорю, — ты совсем свой человек. Завтра доработаем. Наверно...

Ну, вот и пришли. Я принес тапки из той квартиры в эту.

Как будто тапки — это не домашняя обувь, а уличная.

Снимаю тапки, на подошвах которых земля, надеваю другие, а прежние оставил в прихожей. Мысли — на Чикина.

Дарья быстро режет салаты. Я вношу в комнату соки и мороженое из загашника. Баба Ляля и Маша лежат на кровати, смотрят хит-парад самых сексуальных звезд. Потом баба Ляля переключает на заседание суда.

Мне хочется, чтобы всем было комфортно и уютно. Но одежда пропахла пожаром. От этого гнетущее чувство, что горит где-то рядом.

И забирает письма себе. Я-то думал, что сам их брошу в большой, как избирательная урна, почтовый ящик. Но из рук профессионала будет надежнее.

— Спасибо! — говорю я.

Внезапно бабка мрачнеет:

— Стой. Справочник на место положи. Иначе мы тебя повесим. Я, по крайней мере, — задушевно добавляет она.

Без этих нежных слов почта не была бы почтой. Узнаю родимую.

Подхожу к окошку, набираю самой мелкой мелочью, чтоб не разгневаться (я знаю, крупные банкноты здесь не приветствуются), и кладу на тарелочку. Вторая почтальонша сгребает монеты ладонью.

— Все? — уточняю я.

— А что те еще надо? Все.

Тем временем за соседним окошком разгорается скандал. Посетительница, оплачивая квитанцию за свет, опрометчиво дала пятисотрублевку.

— Нет, примите!

— Я не приму купюру!

— А на каком основании?

— А на очень простом основании!

— Нет уж, примите!

— Не орите, на своего мужа будете орать.

Рядом стоит батюшка нашей церкви и молча дожидается своей очереди, склонив голову.

Я с грохотом, сам того не желая, хлопаю дверь.

Меня встречает шум города.

Бегу с хозяйственной сумкой наперевес.

Голову напекает открытое солнце. Я думаю на бегу.

Почта пахнет и клейстером, и коленкором, и сургучным варевом. По идее, тихое учреждение, необязательное, досужное, словно летящее, пернатое письмо. Нечто строгое, но старомодное. Что-то из прошлого века. Но без него никак... Что ж они такие грубиянские там, на почте?

Добежал.

Пока Даша пьет чай с пирогами, я тусуюсь с Ваньком.

Мы с ним решили «полетать»: я отпускаю его чуть от себя, а потом прижимаю. Ему нравится. Он уже хорошо держит головушку.

Потом я пью чай, а Дашунька с Ваньком тусуется.

Post Scriptum

За обедом я рассказал, что вчера побывал на почте.

Папа спросил:

— Повидал уголок социализма?

Он считает, что осталось всего несколько уголков социализма, где люди ничего не делают, но им платят. Его наркодиспансер и почтамт.

Баба Ляля, присевшая поесть манной каши, говорит, что когда в последний раз была на почте, ее обхаживали «будь здоров».

— Я прям не выдержала: «Где это видано, чтобы у вас сегодня конверт стоил двенадцать рублей, вчера он у вас стоил восемь рублей, а в третий день я заходила, вы мне сказали, он у вас стоит десять рублей!».

Саня, балконный отшельник, подает голос оттуда:

— О-о! Правильно!

— А директриса: «Я вообще не знаю, сколько он стоит! Что вы на меня наседаете?!» А я говорю, вы одно учтите, — говорит бабушка вкрадчиво. — К вам разные люди ходят.

Папа полощет кофе во рту, прихлебывая из микроскопической, как наперсток, кружки.



— Е... твою мать, — сказала женщина и стала с шуршанием разрезать листок.

Потом поднесла посылку бабушке.

Та завернула посылку в серую бумагу. Вынула палочку из пластмассовой банки, в которой был горячий сургуч, обмазала там, где было перекрестье веревок. Вмяла печать в горячую коричневую вязкость. Взвесила пакет на подносе, дрожащем, словно желе. Мастеровито обстригла грубые веревочки.

Усталая женщина вышла на улицу, грохнув дверь. Витрины сотряслись. Я видел, как она проходит за ребристыми, струящимися стеклами.

И вновь в тишине зудят мухи.

Окна слепит солнце.

На почте индийская неподвижность.

Надо поторапливаться домой, к Даше и Ваньку.

Переворачивая конверты, я то и дело сверял с образцом, правильно ли я рисую цифры индекса, и складывал письма в стопку. Они казались сырыми. Потому что внутри — мякоть прозы. И она еще не опубликована.

Вдруг снова хлопнула входная дверь.

Вошел какой-то молодой кавказец в футболке. Сказал что-то невнятно и глухо.

— Что вам надо? — громко переспросила девушка за компьютером.

Он хотел узнать: перевели денежный перевод или еще нет.

— Не перевели, — безразлично сказала почтальонша. — Говорю, не перевели.

Он удалился, хлопнув дверь.

— Понаехала лимита. Ходят тут, черножопые!

Вторая вернулась из кулуаров:

— Что он?

— Перевод ему...

Я надписываю письма. Это — в Питер, это — в Москву, это — за Урал. Нервно шуршу справочником с указателем журналов.

Мобильник заиграл поддоставшую мелодию. Копошась под столом в клетчатой сумке, нагруженной пирогами в фольге и помидорами, нащупал трубку. Звонит Дашунька.

Ваня не спит. Дарья носит его на руках.

— Понял, — говорю. — Бегу.

Мои безделки готовы.

Дедушка в очереди передо мной осторожно просовывает в окно квитанции. Я разглядываю газеты по садоводству.

— Че там у тебя? — зычно спросила бабка.

Сую ей конверты. Робко любопытствую, правильно ли я надписал индекс: «кому», а не «от кого».

Она хмуро кивает.

— Одинаковые, что ль?.. — и сминает мои послания в своих хватких руках.

— Да, — и тут же спешу добавить, опасаясь, что она взбунтуется от механической работы. — Но есть отличия.

Бабка достает марки-наклейки, налепливает их парами, макая в рот палец, чтобы лучше отклеивалось, и с размаху шлепает марку на угол.

— Ах, какая марочка хорошая, — говорит она надтреснуто и смеется. А потом своей напарнице, которая ест бутерброд: — Щас все марки наклею на фиг, и домой пойду!

И опять смеется хрипло, залихватски стучит штемпелем.

Как быстро она управляет, как обильно украсила марками конверты. С каким изяществом кладет на весы письма, легкие, как голубиные перья, взвешивает их одно за другим!..

— Двадцать рублей, — говорит. — В то окошко оплати.



Саня даже пришел на кухню, чтобы поделиться своей историей.

— Здравсьте, — говорю я Сане.

— Это которая возле «Автозапчастей», что ль? — сонно спрашивает он и рассказывает о наболевшем: — Это бедлам. Там одна баба решила унизить мое человеческое достоинство. Я бланк неправильно заполнил, она мне говорит... — он отбросил руку в небрежном жесте. — «Идиот, ты бланк испортил! У нас закончились. Все, пиши на чем хошь теперь!» Я ей: «Не могли бы вы представиться? Мы с вами, кажется, не так хорошо знакомы, чтобы вы меня называли «на ты».

— А она че?

— Она опешила. Это психологическое.

Баба Ляля наливает себе чаю с лимоном и продолжает о своем:

— А возле «Витязя» — такие хорошие девчонки работают. Все тебе сделают, все принесут. Бес-пре-кословно. Ты бы туда пошел... Такие, ой. А это — шушера. Ну, вот что ты кусочничаешь?

Саня отщипнул от батона за бабушкиной спиной. Баба Ляля заметила.

— Хочешь пообедать? — с азартом говорит она. — Садись, щас щец тебе разогрею, наваристых.

— Не хочу я твоих щец, — говорит Саня надменно и уходит на балкон.

— Ну и ходи голодный.

Я кладу тарелку в мойку:

— Саша типа злой мальчик. Наверно, на почте хамить научили.. Очень вкусно, ба!

Бабушка вздохнула с доброй улыбкой и говорит:

— Ну, а что там твои письма, которые я отсылала? Так ответа и нету?

— Да, пока глухо, — я поглаживаю стол и тереблю конфетный фантик. — Ну, это так, ерунда. Может, еще ответят. Кто й знает.

— Да они засунули куда-нибудь твои письма, они у них и лежат. Эти почтовики... придурочные.

Не зря же баба Ляля ходила туда, отправляла мои вирши.

— Ничего, — успокаиваю. — Дойдет.

Саня кричит с балкона:

— Возле «Витязя» отправляй! А то тут всегда будет такая маевтика!

Я говорю папе:

— Они ведь и тебя посылали куда подальше?

— Было дело, — отвечает он с внутренним спокойствием. — Их директриса взимает дополнительную плату за свои услуги в виде душевной энергии клиентов.

— А с ними надо по-хитрому, — Саня на балконе расставляет шахматы, готовясь к поединку. — Тонкая психологицкая игра.

Потом утомленно:

— Пап, ну ты долго еще будешь чаи распивать?

— Ты уже готов сразиться? Ну, смотри у меня!

А мне домой.

Я иду мимо турников. Возле кустов чирикают воробьи, будто кто-то рисует постоянную галочку. Поводят острыми хвостами трясогузки. Потом перелетают с места на место.

Не надо все же говорить плохо про почтовых работников.

Может, и мне какое-нибудь письмо придет.

Не зря же мы с бабой Лялей отправляли.

Дворы

(ок. 19 августа 2007)

Две недели назад получили свидетельство о рождении Ивана Федоровича. Десять дней назад ему стукнуло месяц.

...Даше нужно за яблоками в Красногорск. Иначе пропадут. Они падают с яблони, и их некому собирать. Их уже ящик.

Дарья заодно развеется. Конечно, не самая интригующая поездка. Но люди, общение как-никак. Ветер в волосах.

Я остаюсь с Ваньком.

План таков. За Дарьей заезжает ее папа, когда Ваня еще спит. Когда он проснется, мы пойдем гулять. Потом я попою его из бутылочки молоком. А тут и Даша вернется.

Она, сидя на стуле спиной ко мне, склоняется в три погибели над узкогорлой пластиковой емкостью. Она цедит..

Я медленно просыпаюсь на ходу.

Вдруг раздался звонок домофона.

Это Дашин папа. Вместе пьем чай. Едим чак-чак, который он привез.

Дарья поставила в холодильник сто миллилитров свежего молока.

Подходит к спящему Ваньку, смотрит на него, говорит еле слышно:

— Веди себя с папочкой хорошо. Не шокируй его, не фраппируй его. — И вышла, тихо обула сандалии. — Ну, все. Я пошла.

— Слушай. Может, дашь ему сися на всякий случай?.. Или проснется? — спросил я.

— Ты не понимаешь, о чем говоришь! Сися — это кабала на сорок минут.

— Ладно, покеда. Целую.

Даша осторожно прикрывает железную дверь и вот уже звенит ключами там, в дальнем коридоре. Исчезла. Совсем.

Я стою в тишине, но не в одиночестве.

На шкафу розовое солнце утра. Можно чуть-чуть почитать.

Ваня, разметав пеленки, лежит на середине кровати. Он медленно и глубоко дышит. Спит ровно, безмятежно.

Забываю книжку, подхожу к нему. Смотрю на сына. Целую в пухлую щеку. Трогаю носом пух на голове.

Вдруг Ваня вздохнул. Вскинулся.

Он выкарабкивается из сна ворочаясь, с сильным криком и недовольным криком.

Я его растревожил.

Разбудил!

— Ку-ку, Ванюша! — говорю я ему позитивненько. — Мы проснулись. А кто сладун? Кто самый гладкий мой малюн?

Ваня недоволен. Обнимаю, беру на руки:

— Ну что, мужик? Пойдем во двор, наверно? Только умыться надо. Вот какой сонный! Вот какой он церемонный!

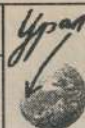
Ваня сжимает головушку руками, трет уши, одна щека красная, горячая, заспанная, в складках от простыни.

С Ваней на руках натягиваю носки. Надо было, конечно, раньше сообразить.

Пытаюсь его увлечь резиновой непромокаемой книжкой про удивительных рыб и морских коньков, а сам напяливаю майку и штаны.

Открыл комод с малышовыми вещами. В этом году очень жаркий август.

— Упихтериваться особо не будем? Мы так, слегонца. А где наш чепец? Ты не в курсе, Ванюх? Урлю-урлю...



Выезжаем с коляской во двор. Солнце пока щадит. Ваня лежит смирно. С серьезным видом смотрит по сторонам. Ему интересно наблюдать, как меняется пейзаж за окном его кэба. Ваня моргает глазками синими.

Покатались вокруг «холодной» детской площадки, которая находится в колодце из трех домов. Здесь бывает прохладно даже в зной.

Проехали мимо площадки возле «Копейки».

Я разглядываю деревянные бортики детского комплекса с горкой, лесенками и всякими приспособлениями.

Удивляюсь физиономиям чебурашки, обезьяны и других бедных зверей, которых неизвестный художник запечатлил на крыше беседки. Всех сказочных героев объединяют две черты — кривая улыбка и болезненная пучеглазость.

Между прочим, Вань, мой папа, а твой дедушка — Андрей Федорович, он врач-психотерапевт. И когда мы тут гуляли, Андрей Федорович нашел этим феноменам свое объяснение. Тебе интересно, Ванюш, какое именно?

Во-первых, художник хотел выразить чувство вины. Обычно дети прячут свой страх перед наказанием, скрываясь за улыбкой. Поэтому у носорога, филина и черепахи такие натянутые и нездоровые оскалы.

Во-вторых, большая голова и маленькое туловище героев говорят о пресинге ответственности и кислородном голодании мозга. Следствием чего являются шарообразные глаза.

Я, Ваньк, не уверен, правильна ли эта трактовка. Почем купил, потом, как говорится, и продаю. Но, ты знаешь, это не единственная точка зрения.

Твоя мама смотрит на эту живопись с бытовых позиций. Она считает, что арбайтерам, которые раскрашивали площадку, выдали образцы — вот они и писали портреты в меру своего таланта...

В любом случае, картины бередают душу любого одинцовца от мала до велика.

Но нам на эту площадочку пока рано.

Ваня любит ездить. Он сразу чувствует, что дело неладно, и начинает скрипеть, стоит мне остановиться или чуть-чуть замешкаться. Недовольно кряхтит в коляске, как старичок.

Погоняй, мол, ямщик.

Сбоку, по бордюру, пробегает мужчина в джинсовой куртке.

Он куда-то торопится.

Я уступаю ему дорогу, съехав на траву.

— Что ты, что ты, что ты, — опережает он. — Сам обойду. Я все это знаю. У меня сыну семнадцать лет! Ну, здоровья, крепкого, прежде всего!

Я качу коляску дальше, глядя на быстрого смуглого мужика. Я включен теперь в сообщество отцов. Это счастье.

Мы едем, едем, едем...

Постепенно перешел от бойких походных к медлительным колыбельным в надежде, что Ваня заснет. И вот глазки Ванины вроде прикрылись.

Можно сесть на лавку. Открыть книжку.

Расположимся прямо под сумасшедшей коалой и шароглазым бегемотиком. А коляску будем качать для верности — кач-кач.

Ванек сопит. Клиент готов.

Сколько еще все-таки предстоит Ване познать. Собачку еще не видел ни разу. Кошечку тоже. Страницы шуршат, а Ванюша не знает, что это именно страницы...

Осматриваюсь вокруг.

Выходят гулять дети — с мамами и без.

На площадке становится шумно, поскольку тепло и солнечно.

Возле песочницы маленький народец. (Наверное, чукчи? — Жына). Одна девочка вынесла во двор шиншиллу. Бася — так зовут животное. Меховой зве-



рек прячет мордочку. Это именно он, а не она, настаивает девочка. Все толпятся вокруг Баси. Глядят или осторожно прикасаются.

Один мальчик подходит ко мне и сообщает таинственно:

— Там ширшилла. Не дай Бог, за палец укусит!

Он повторяет эту фразу каждому вновь пришедшему ребенку или взрослому.

Мальчик, видно, принял мамины слова слишком близко к сердцу.

Вдали слышны отзвуки масштабной сечи на мечях.

А в металлическом остове кареты поблизости сидят две девочки, дергают друг друга за щеки и смеются. Потом обе выбегают — одна схватила плюшевую собаку, отряхнула платице — уронила собаку, подняла, погладила — и вот уже обе несутся вместе к карусели.

Мальчик в очках держится руками за улыбку железной лягушки. Кричит:

— Спасите меня! Я падаю в пропасть!

Потом сорвался. Приземлился — оказался уже в другой игре. И вот догоняет какого-то мальчугана в шортах, берет его за плечи и восклицает, как судия:

— Штраф! Немедленно штраф!

Мне звонит Дарья. Она говорит, что уже на месте, собирает яблоки.

— Как у вас дела? — спрашивает.

— Все под контролем. Ванька спит, как пеньку продавши.

Повесил трубку.

Тут Ваня и заскрипел.

Заглядываю в коляску. Сонные глазоньки стали четкими и ясными.

Больше спать не будем. Есть Ванюшеньке пора.

Книжку в авоську.

...Вот мы и дома.

Держу Ваню подмышкой. Грею в «водяной бане» молочную баклагу.

Голос сына становится все более требовательным. Лопочу:

— Ваня, кушать будем мы, сыны великой мы страны! Ну, не надо. Не нуди.

Ща все будет. Ща.

Надо, чтоб теплое, но не слишком. Поболтал, слои перемешались. Готово дело.

— А все, а все! Это мама пришла, молочка принесла!

Ваня с каким-то удивлением в глазах хватает соску бутылки.

Кладу его на руку.

Он припал к источнику.

Причмокивая, не отрываясь, Ваня пьет. Он воспринимает это как самое важное дело в жизни. Мне даже неудобно присутствовать при таком таинстве.

Ваня на секунду отрывается. Опять ищет бутылочку. «Эхехь, эхехь», — говорит он беспокойно что-то свое.

Я наклоняю бутылку, помогаю. Пытаюсь насмешить. Но ему не до шуток. Ваня серьезней и умнее меня. Он пьет молоко.

Видно сквозь прозрачную соску, как совершаются последние глотки. Все до конца осушил!

Теперь Ване надо полчаса находиться в вертикальном положении, гулять «столбиком» по завету врачихи Бабкиной. Она это строго наказала — чтобы не было газов.

— Поселились в пузانه

Очень злые пуки.

Причиняют нам оне

Ах! жестоки муки.

Зазвонил телефон. Даша говорит, что едет обратно, будет минут через двадцать.

Я замечаю, что Ваня начинает хныкать.

Видать, не наелся.



Открываю холодильник. Молока там больше не предвидится.

— Иван, дорогой! А пойдем-ка мы гулять, серых уточек считать?

Но Ваня не разделяет моего энтузиазма.

Когда я надеваю ему пинетки и костюмчик, он болтает ногами: не хочет. Куксится. Отчего, почему, не пойму.

Я мотаю запястьями, показываю «шоу ловкости рук». Щелкаю пальцами, делаю два прищлепа, три прихлопа. Ваня на секунду взбудоражился.

А потом только еще сильнее заплакал, безутешно, пронзительно.

Я понял, что беспомощен.

Только раздражаю его всей этой самодеятельностью. Оскорбляю напрасными надеждами.

— Ладно, let's go, — говорю.

Опять выезжаем с коляской во двор.

Даша звонит. Она — экстаз! — уже на Чикина, 2.

Скорее туда. Минут десять-пятнадцать быстрым шагом.

А Ваня морщится, плачет. Складчатые ручонки трут глаза. Ведущие врачи-педиатры говорят, что месячный ребенок, плачущий больше пяти минут, думает, что мир рухнул.

Вдруг сын словно поперхнулся плачем, подавился. Замолчал.

Я испугался, воскликнул:

— Ваня?! Ваня?!

И я узнал по этим трем секундам затишья начало самого отчаянного рева. Тишина была всего лишь оттяжкой. И рев настал.

Я схватил Ваню в охапку. Коляску толкаю другой рукой. Бегу с Ваней так быстро, как если бы его украл. Он вопит.

Мы несемся к маме. Ванин ор слышит весь бульвар Крылова.

Прохожие оборачиваются.

— Ванюша! Добрый мой!

Но Ванюша увещеваний уже не слышит. Слезы льются ручьями. На лице проступили красные пятнышки. Глаза, как у зверька, которому некуда бежать.

Ведущие врачи-педиатры говорят, что у детей плач на тех частотах, которые наиболее терзают душу родителей. Так задумано природой. Так оно и есть...

Звонит Даша. Лучше не ужасать кормилицу. А то и мать откачивать придется.

— Нормально все, — сообщаю. — Идем и прохлаждаемся. К маме собираемся. Сейчас будем, — и, нажав на «сброс»: — Балиннн... Иванушка! Ля-ля-ля! Пинь-пинь-пинь! Буль-буль... А давай опять на ручки?

Солнце падает прямо на малыша. Ведущие врачи-педиатры говорят, что прямые лучи могут причинить детям до года психологическую травму.

Взмыленный, я пинаю туловом коляску вперед.

На руках держу верещащего сына.

— А где наша мамуля? А она поехала в Красногорск. На свою малую родину. А что она нам привезла? Ящик яблок. Вот чудеса-то! Ну, потерпи, милоч, потерпи, пожалуйста! Гля-кось, а мы уже дома!

Добрались до подъезда. Вызываю лифт.

Ничего Ване не надо.

Дайте маму.

Открылась дверь.

Из темноты на площадку хлынул яркий свет.

Даша тут как тут. Подхватывает Ванька.

Плач обрывается враз. Ваня прильнул к груди.

Отдышался, снова кушает. Жалуется.

Дарья шепчет:

— Ой, сердитый на маму, ой, сердитый!

Даша кормит. Пятнадцать. Двадцать минут.
Ваня прикрыл глаза и уже дремлет. Моя мама, Ирина Михайловна, смотрит на внука:

— Наорался, бедный...

Наконец Даша произнесла:

— Все, отвалился.

Подбородочек затрясся, и вдруг Ваня улыбнулся.

Все умилились. Я перевожу дух.

Дарья сидит в кресле с Ваньком. Вдруг покраснела, у самой глаза на мокром месте:

— Разве могу я такого маленького оставлять? Ну, прости свою маму, прости мать-ехидну!..

— Дарья, харэ уж, — говорю. — Иди кушать. Доуложи и иди. Ты просто переутомилась! За два часа туда-сюда сгоняла. Шутка ли.

— Правда. Я уже головку не держу... Деградация.

И снова целует сына:

— Ты истринская булочка моя! Са-а-амый толстый в Одинцове грудничок!

Прошло еще время. Ваня вроде бай-бай. Вхожу в большую комнату. Изможденный, опадаю на диван. Запрокидываюсь навзничь. Отдыхаю после променада.

Ваня поспал недолго. Как проснулся, его, конечно, все окружили. Андрей Федорович вышел из своего кабинета. Берет внука на руки:

— А вот гляди, какая борода у дедушки! Видывал что-нибудь подобное?

Потом дед показал Ване свою коллекцию колокольчиков. Побренчал перед ухом тибетскими металлическими кругляшами. Задумался:

— Смотри-ка. Сmekать Иван старается... Осмыслить... Надо его из солипсизма выводить.

Ирина Михайловна говорит Андрею Федоровичу:

— Ручки его потрогай, какие шелковые! Смотреть можно сто часов! Как любованье сакурой...

— Мам, ну долго мне еще унижаться? — орет Саня из большой комнаты, щелкая клавишами. — Когда обед-то будет?

Пообедали.

...Возвращаемся домой вместе с Дашей.

Неторопливо проходим дворами.

— Солнце какое кусачее, — сетует она.

Но Ваня спокоен. Ничто не причиняет ему психологические травмы.

Его мама рядом. Я обнимаю Дарью.

У нее есть сиси.

Это надо ценить.

В корзине под люлькой везем яблоки.

Церковь

(без датировки)

— Я считаю, ходить в церковь — кривить душой. Нельзя собрать всех людей, и они сделаются братьями и сестрами. Вот ты ходишь в храм. Сколько лет?

— Года четыре.

— А зачем ты ходишь? Ты стал сильно лучше?

— Не знаю. Хочу... пробую...

— Возвращаешься. Чуть что — злой такой, напыщенный, как какашка.

— Это из-за резкого попадания из одной ситуации в другую... из-за... Ну, прости, что я могу сказать.



помнить о том, что Ты есть. Настави и заступи рабов Твоих, Господи, по велицей милости Твоей. Аминь.

Служительница «на свечах» кисточкой смазала воск с подсвечников. Меняет в лампадке масло. Пламя, угасшее было, горит ровно, не мигая, красной точкой.

Я веду Лизу вперед.

— Ты не причащаешься? — спрашивает она.

— Н-нет...

Я отхожу. Лиза складывает руки на груди, стоит в толпе. Она пойдет, только когда причастят младенцев. Так надо, так батюшка Николай сказал, она его очень любит.

Медленно поют: «Тело Христово приимите... Источника бессмертного вкусите...»

Дергая своего папу за руку, мальчишка качается и поет:

— Ну можно мне на улицу?

Отец очень нервный, тикующий. Его лицо сжато, напряжено. Он говорит:

— Подожди. Сейчас идет Причастие Святых Тайн.

— Каких тайн?

Мальчик готов слушать, смотрит отцу в глаза. Тот шепчет:

— Христос принес Себя в жертву. Понимаешь? — и жестом пытается не объяснить, а выразить, как бы достать что-то из души. Лицо успокаивается, оживает. — Тело и Кровь Свою ради нас... Мы с тобой потом поговорим... об этом.

Там, где ставят свечи «на канун», большой стол. На нем макароны, сок, мука, подсолнечное масло. Я пошел поставить свечку.

Рядом молится женщина в темном платке, голова вниз. Вероятно, в трауре. Сзади к ее спине прикасается другая, незнакомая.

— Фу, — говорит женщина.

— Да я... Просто шубу вам не запалить. Тут свечи.

— А что, запалили? — та резко обернулась.

— Да нет, нет...

— Ну-ка посмотри, — требовательно говорит женщина своей матери, стоящей по левую руку. Пожилая мать осматривает шубу:

— Да нет, доченька, ничего там нет...

Лиза вернулась — руки крест-накрест. Молчит, но улыбается. Держит обеими руками ковшик с запивкой, глотнула. Потом подошла и спрашивает:

— Знаешь, что такое воскресенье?

Я пожимаю плечами. Лиза говорит радостно:

— Это маленькая Пасха!

После Причастия отец Григорий произносит проповедь, глядя в глаза прихожанам, в том числе и мне. Ненадолго поднимаю Лизу на руках, чтобы она увидела, что происходит за людьми.

Платки сияют белизной на солнце после дождя. Лопухий малыш в луче заснул, уткнувшись папе в бороду светлой головой. Женщины, дедушки, взрослые мужчины, дети слушают отца Григория.

Потом мы целуем распятие. Батюшка каждому говорит «с праздником!».

Выходим из храма. Крестимся. Слышен звон колоколов.

Лиза держит меня за руку. Читает новый стишок.

Твердой походкой, крепкими ногами, из церкви идут двое: бритоголовый мужик и его коренастый охранник. Спины облегают крепкие пиджаки. Охранник торопится вслед за главным. Раскрывает над его головой зонт. Но дождя нет.

Нищие просят милостыню возле ограды, склоняясь на косых костылях. Главный, доставая по пятаку из кармана, чуть не лупит каждому по ладони,



— «Прости» — а потом та же байда.

Утро воскресенья.

Наступила осень. Пока я шел, мои летние ботинки с дырочками промокли. Развязавшиеся шнурки стали похожи на дождевых червей.

Опять опоздал.

Проспал.

Возле церковной ограды стоит немолодая женщина, разговаривает со стариком в белой рубашке. Держит ребенка на руках. Другой малыш сидит в детской коляске. Недавно эта женщина чуть не до драки ругалась с цыганами, обступившими вход. Сейчас увидела меня и по-доброму произносит дежурную фразу:

— Помогите детишкам!

Медленно от больших дубовых дверей ступаю вглубь.

Прихожане хором поют «Верую...». Пространство храма полнится молитвой.

Разные люди приходят в церковь.

На денежный ящик опирается старушка, которая, слушая хор, вдруг начинает поводить руками, будто приплясывает. Кажется, не в себе.

Человек со смоляными, иссиня-черными волосами и бородой густо басит. Он поет громче других, растягивая гласные на самой низкой ноте. Он похож на перса или хазара. Одет в просторную рубаху, подпоясанную каким-то ремешком с кистью.

Мужчина с бессонными глазами везет на кресле парализованную бабушку. Она с силой толкает впереди стоящих рукой, чтобы ей уступили дорогу. Дотягивается до иконы Святителя Пантелеймона. Потом, пугая маленького мальчика, протягивает ему конфетку.

Неподалеку от алтаря, возле правой стены, молится молчаливый человек с крепкой нижней частью лица, похожий на каменотеса. У него гладкие длинноватые волосы. Стоит неподвижно. Только благоговейно, медленно крестится. На больших праздниках он обычно стоит в конце толпы с теплящейся, но твердой улыбкой. Держит свечу тремя пальцами руки с узловатыми фалангами, а другой укрывает пламя от ветра.

Разные люди приходят в церковь. Надо молиться, а не глазеть по сторонам. Надо сосредоточиться, сердцем понимать каждое слово. Трудно.

Пропели «Отче наш...» Сейчас будет Причастие.

Вдруг меня схватили за куртку.

Оглядываюсь — никого. Только на скамеечке сидят бабушки...

И второй раз кто-то дернул. Смотрю вниз. Это, оказывается, Лиза.

— Приветик! — я целую ее в макушку, в косынку.

Она берет меня за руку.

— Ну что, Лизанька, как дела твои?

— Хорошо, — просто и стеснительно говорит она, будто главное уже нашла.

Подзывает, чтобы я наклонился:

— Я тебе, когда выйдем, новый стишок прочту, я выучила.

— ОК, — говорю.

Лизе скоро семь. В прошлый раз ее не было. Это потому, что она уже молилась с мамой на ранней литургии, которая в шесть тридцать утра.

Бабулька ставит свечу. Отходит, шаркая заношенными кроссовками с оттоптантыми задниками. Потом подхожу я с Лизой. Целую икону. Подхватываю маленькую, чтобы она тоже приложилась к образу.

Господи, помилуй мя за мои грехи и страсти... Дай силы покаяться и больше не грешить. Спаси и сохрани мою семью, родных и близких. Сделай так, чтобы мои грехи не обрушивались на них. Защити нас от невзгод и горя. Помоги трудиться и любить, зная, что на все Святая Воля Твоя. Помоги мне



строго и одинаково. Сбитые, как кулаки, двое идут к черной машине. Она газует, исчезает из виду.

Распогодилось.

Звонарь притоптывает ногой на колокольне. Звон медно сыплется на город, распирает осенний воздух. Гул разносится по дворам и окрестностям. Отдается в стенах ночного клуба «Дилижанс» через дорогу напротив церкви. В зеркальных домах. За Макдональдсом.

Перезвон падает на Одинцово. Я чувствую на себе взгляд.

Оборачиваюсь, еще не выйдя из церковной ограды.

Увидел случайно: стоя поодаль, как бы таясь, маленьким знамением-щепоточкой меня перекрестила Лиза.

В лесу

(14 июля 2008)

Я лежу в лесу на поляне, накрытый футболкой.

Ваня с Дашей гуляют рядом.

Я вижу перед собой красное. Потому что на глазах майка. И еще вижу откусанную соломинку, отпавшую от моего рта, которая зацепилась за изломы ткани. И букашку, ползущую по волокнам.

Поет птица. Свиристит детский мячик.

Висят облака. Качаясь, дышат деревья. Ваня ползет по траве ко мне.

Еще долго до полудня.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Екатеринбург

Драматург Василий Сигарев — лауреат «Дебюта», «Антибукера», «Evening standart» получил Гран-При «Кинотавра» за фильм «Волчок», снятый им по собственному сценарию («Урал», 2006, №4). «Волчок» снимался в Свердловской области, поэтому не удивительно, что большинство из исполнителей ролей второго плана режиссер нашел здесь же — например, в каменск-уральской «Драме № 3». Обсудить «Волчок» зрители Екатеринбурга смогут осенью, а пока фильм ждет очередной кинофестиваль — на этот раз в Карловых Варах.